

## Запреты в большом городе

свобода от принуждений или принуждение к свободе?

*Горизонт сознания*

**Анна Ганжа**



Провинциальный город из повести Чехова «Моя жизнь» – «город лавочников, трактирщиков, канцеляристов, ханжей, ненужный, бесполезный город, о котором бы не пожалела ни одна душа, если бы он вдруг провалился сквозь землю», – этот город являет собой особый тип пространства – *пространство несвободы*. Жители города «поколениями читают и слышат о правде, о милосердии и свободе и все же до самой смерти лгут с утра до вечера, мучают друг друга, а свободы боятся и ненавидят ее, как врага». Отвращение к свободе – одно это чувство – не может, конечно, превратить город в место несвободы. Для этого город должен быть так устроен, чтобы в нем не могла возникнуть *публика* в кантовском смысле – как среда, в которой свобода публичного пользования собственным разумом становится возможной.

В чеховском городе, чтобы приобрести «общественное положение», следует применять свои способности и таланты исключительно *частным* образом, – именно на это обстоятельство указывает Мисаилу мясник Прокофий: «Есть губернаторская наука, есть архимандритская наука, есть офицерская наука, есть докторская наука, и для каждого звания есть своя наука. А вы не держитесь своей науки, и этого вам нельзя дозволить». Однако мы бы совершенно не поняли Чехова, если бы предположили, что Мисаил отказывается от приличествующей ему канцелярской «науки» в пользу физического труда, руководствуясь благородным стремлением к публичному применению разума – то есть, иначе говоря, руководствуясь сознанием свободы как единственным основанием своих поступков. Да, у Мисаила есть рациональное обоснование своего выбора, – «моя деятельность с сфере учебной и служебной не требовала ни напряжения ума, ни таланта, ни личных способностей, ни творческого подъема духа: она была машинной; а такой умственный труд я ставлю ниже физического, презираю его и не думаю, чтобы он хотя одну минуту мог служить оправданием праздной, беззаботной жизни, так как сам он не что иное, как обман, один из видов той же праздности», – однако, как мы видим, Мисаил никак не акцентирует противоречие между «праздной, беззаботной жизнью» и внутренним ощущением свободы. Он радикально меняет свой образ жизни и становится изгоем вовсе не из «горения свободой», не из романтического порыва

или увлеченности какой-нибудь немецкой книжкой, – он поступает так потому, что считает правильным заниматься тем, на что хватит его заурядных способностей.

Большинство жителей города демонстрируют неколебимую приверженность своей частной «науке», удерживая себя в состоянии несовершеннолетия, и лишь два персонажа могут претендовать на то, чтобы составлять *публику*. Это доктор Благово и Маша. Именно они интерпретируют выбор Мисаила не как *гетерономный*, – каковым он в действительности и является, – но как *автономный*, основанный исключительно на свободе воли. Доктор, восхищаясь «благородством» и «возвышенностью» Мисаила, видя в нем человека, занятого напряженной внутренней работой и ежедневно приводящего свою жизнь в соответствие со своими «высокими убеждениями», – видя в нем, иными словами, *универсального субъекта*, захваченного безостановочным самоистолкованием в духе категорического императива, – тут же обнаруживает беспредельный, абсолютный, тоталитарный характер требований разума в его публичном применении: он едва ли не осуждает Мисаила за то, что он как-то чересчур серьезно относится к этому своему «физическому труду» и отказывается устремляться ввысь и в бесконечность. То же и Маша – в ее устах частный пример Мисаила превращается в максиму, обобщенную до принципа всеобщего законодательства: «Одно несомненно: надо устраивать себе жизнь как-нибудь по-иному, ... а та жизнь, какая была до сих пор, ничего не стоит». И потом, когда Маша погружается в навязчивую рефлекссию достаточных оснований для очередного изменения своей жизни, – для того, чтобы уехать из города и бросить Мисаила, – она формулирует эти основания крайне абстрактно: необходимо «выйти из тесного круга обычной деятельности», нужна «шумная, энергичная проповедь».

И доктор, и Маша обнаруживают принудительный, навязчивый характер исповедуемой ими свободы. «Надо любить, мы все должны любить – не правда ли? – без любви не было бы жизни; кто боится и избегает любви, тот не свободен», – такие соображения приводит доктор в оправдание того, как он поступил с Клеопатрой. Свобода увлекает этих людей, они наслаждаются свободой, и само это наслаждение свободой делает их ее пленниками. Доктор не может не уехать в Петербург, не может не написать диссертацию. Маша не способна противостоять категорическому императиву, требующему от нее бесконечно разнообразить свою жизнь. Она тоже уезжает в Петербург, потом в Америку. Она полностью подчиняет свою жизнь свободе, вплоть до абсолютного отрицания самой жизни: «Все проходит, пройдет и жизнь, значит ничего не нужно. Или нужно одно лишь сознание свободы, потому что, когда человек свободен, то ему ничего, ничего, ничего не нужно».

Речь идет, следовательно, о двух образах несвободы. С одной стороны – провинциальный город как пространство несвободы, как место добровольного несовершеннолетия и отказа от свободы публичного применения разума. С другой стороны – принудительность императива, требующего полагать свободу в основание любого поступка. Это требование *бесконечно*, оно не может быть реализовано в локальном, ограниченном пространстве, – вот почему Маша и доктор стремятся в *большие города*. Свобода, которая не оборачивается бесконечной, тотальной несвободой, может быть обнаружена где-то *по ту сторону* дихотомии частного и публичного применения разума, а именно в *практике свободы*. – Мы можем утверждать, что Мисаил, отказываясь повиноваться «обществу» с его требованием использовать способности и таланты строго определенным и исключительно частным образом, в то же время не противопоставляет этому внешнему, пространственно ограниченному и потому всего лишь *частному* запрету на свободу никакого внутреннего императива – то есть *универсального, абсолютного* запрета на несвободу. Это и означает, что Мисаил *практикует свободу*, не будучи ее «адептом» или «теоретиком».

Мы можем пойти дальше и утверждать, что чеховский Мисаил реализует на практике некоторые идеи, высказанные Адорно в «Негативной диалектике». Адорно называет *фикцией* понятие свободы, сложившееся в классической европейской философии. Упомянув кантовских индивидов, которые не желают действовать иначе, как следуя идее свободы, он пишет: «Их собственная свобода и является основанием их несвободы – неспособности сделать что-то по-другому... Если свобода полагается позитивно, как данное..., то она непосредственно превращается в несвободу. ... Носитель свободы у Канта – вот что саботирует свободу. Этот носитель – разум, совпадающий с чистым законом. Свобода нуждается, скорее, в кантовском гетерономном». – Свобода, таким образом, может быть реализована лишь в соотношении с конкретной, *частной* формой несвободы. Другими словами, чтобы свобода действительно могла быть осуществлена, нужна вовсе не абстрактная идея свободы, предъявляющая к реальности заведомо невыполнимые требования, – нужно, чтобы в конкретном пространстве несвободы, образованном определенной констелляцией запретов и предписаний, были предусмотрены те или иные формы нарушения, отмены, снятия этих запретов. Иногда, когда система запретов и, назовем это так, поле упраздняющих эти запреты практик находится в состоянии гармонического равновесия, – если это состояние вообще можно как-то зафиксировать, – мы можем говорить о том, что здесь, вероятно, складывается некое *публичное пространство*.

Обычно под «публичным пространством» понимается место, – тут надо заметить, что речь идет, как правило, о каком-то месте в *большом городе*, – где незнакомые и – как часто любят повторять – совершенно *разные* люди заняты некой совместной деятельностью, которая не только не нуждается в том, чтобы эти люди все-таки познакомились, но даже требует вынесения за скобки всех возможных последствий такого знакомства. Тогда как сфера частного, напротив, аккумулирует подобные последствия и эффекты. Граница между частным и публичным в таком – обыденном – понимании проходит там, где меняется характер прав и обязанностей субъекта по отношению к себе и другим. В частном пространстве мы сами для себя устанавливаем права и обязанности, руководствуясь нравственным законом, *публичность* же конституируется неким общественным установлением или договором, – так сказать, формальной рамкой, протоколом, определяющим перечень и процедуру реализации прав и обязанностей всех потенциальных «участников». В качестве идеального образа «публичного пространства» обычно фигурирует «кафе» – место, в котором не обремененные срочными делами люди собираются, чтобы выпить кофе с круассаном, прочесть не торопясь свежий выпуск газеты, – и уж, смею заверить, это не какая-нибудь там газета с «комсомольским» названием, – обсудить последние новости несколько в ироничном ключе, – впрочем, события последних месяцев добавили в господствующую интонацию ноты сарказма и агрессии, – в общем, осуществить «коммуникацию» и таким образом засвидетельствовать свой социальный статус.

Я не являюсь завсегдатаем кафе и не могу судить о том, соответствует ли какое-нибудь реальное московское кафе этому идеальному образу, – мой скудный опыт свидетельствует, скорее, об обратном, – тем не менее, можно заметить, что этот образ не отвечает не только корректному понятию «публичного пространства», но даже и обыденному его понятию, описанному в предыдущем абзаце. Мне кажется, никто на самом деле не желал бы встретить в «кафе» действительно *разных* людей, да и «коммуницировать» приятней все же с единомышленниками, чем с подозрительными анонимами. Я думаю, что «кафе» никак не может быть публичным пространством, потому что «кафе» – как раньше «кухня» – это такое место, куда можно прийти с друзьями и свободно поговорить на разные темы. Но «свободно поговорить с друзьями» и «практиковать свободу слова» – это все же разные вещи. Практика свободного слова – *парресия* [греч. речь свободного человека, право на публичное заявление, неотъемлемое от гражданства в полисе. – Ред.] – осуществима только там, где свобода слова тем или иным

образом ограничена. Как отмечает Фуко в курсе лекций «Управление собой и другими», античная парресия – это говорение правды «в таких условиях, когда сам факт высказывания правды и самый факт говорения о ней влечет или может повлечь опасные последствия для того, кто говорит правду».

В этом примере существенно также и то, что паресиаст – тот, кто практикует паррессию – действует так не потому, что он во что бы то ни стало стремится реализовать свою свободу, но потому, что для него *правда* выше свободы и даже жизни. То же и Мисаил – он отвергает сословную «науку» не для того, чтобы непременно поступить свободно, но для того, чтобы поступить *правильно*. Его поступок в каком-то смысле является обусловленным обстоятельствами даже в большей степени, чем «непоступки» прочих горожан. Обобщая, можно сказать, что *практика свободы* заключается не просто в сопротивлении действующему порядку, но в *восстановлении* того *исконного порядка*, по сравнению с которым действующий порядок является беспорядком и беззаконием. В этом смысле «публичное пространство» – не просто медийная инфраструктура, насыщенная информационными технологиями городская среда или даже постоянно открытая площадка для митингов, свободная от ОМОНа, – это такое место, в котором воссоздание истинного порядка вещей является потенциально осуществимым. Отталкиваясь от этого определения, сложно сказать, где у нас в Москве есть публичные пространства, зато можно точно сказать, где их нет.

Вот я, к примеру, не юрист и не разбираюсь в тонкостях системы обязательного медицинского страхования – я не знаю, можно ли говорить о том, что в нашей районной детской поликлинике *действительно* нарушаются права моего ребенка на медицинское обслуживание, поскольку мы уже очень давно не можем записать его к специалистам. Я готова допустить, что какой-нибудь чиновник от медицины аргументированно докажет мне, что никакие права не нарушаются и что мы сами, в общем-то, виноваты, что не можем достать злополучный талон. Но я знаю, что так быть *не должно*. Тот порядок, который сложился в нашей поликлинике, – это зло, варварство и беззаконие. И никаких возможностей восстановления правильного порядка вещей ни у нас, ни у других родителей нет. А значит, если наша поликлиника и является «общественным местом», то только в уродливом и бесчеловечном смысле учреждения, для прохода в которое не требуется специальный пропуск. Давайте теперь представим, что я всеми правдами и неправдами – используя такие, например, аргументы, как коробка конфет или банка кофе – все же достала талон. Можем ли мы в этом случае сказать, что я обошла запрет и в каком-то смысле реализовала «свободу»? – Очевидно, нет. Я, сама того не желая, стала частью рабочего механизма этой омерзительной системы, запрещающей детям лечиться.

Другой пример. Жители дома А долго терпели возмутительную ситуацию, когда жители домов В и С беспрепятственно ставили свои машины во дворе дома А, а неизвестно чьи дети ходили на детскую площадку, построенную их, жителей дома А, общими усилиями. Они требовали от управляющей компании что-то сделать, но управляющая компания, как обычно, ничего не делала. Тогда терпение жителей дома А лопнуло, они создали товарищество собственников жилья и уволили управляющую компанию. Потом они огородили свой двор забором с колючей проволокой и ввели пропускной режим. Эти меры привели к резкому улучшению ситуации – теперь жители домов В и С уже не ставят здесь свои машины, а на площадке играют только дети жителей дома А. Можем ли мы, опять же, сказать, что жители дома А преобразовали свой дом и двор в *публичное пространство*? – И снова нет. Несмотря на то, что данный случай вполне описуем посредством таких терминов, как «самоорганизация», «общественная инициатива» и «гражданская солидарность», очевидно, что порядок, который установили жители, ничем не лучше – а в действительности гораздо хуже – того беспорядка, что был раньше. Если это и был «беспорядок»,

то вовсе не по отношению к порядку заборов и цепных псов. Жители осуществили свободное волеизъявление, но *практикой свободы* их деятельность назвать нельзя.

В интервью «Этика заботы о себе как практика свободы» Фуко говорил, что для того, чтобы практиковать свободу, чтобы в отношениях с людьми не быть ни тираном, ни рабом, надо сначала *познать себя* и научиться *управлять собой*: «если вы заботитесь о себе как надо, т.е. если вы онтологически знаете, кто вы такие, т.е. если вы знаете еще и на что вы способны; если вы знаете, что такое для вас быть гражданином в городе, быть хозяином дома в домохозяйстве-доможительстве (*oikos's'e*); если вы знаете, чего вы должны бояться и чего не должны; если вы знаете, на что следует уповать и, напротив, что должно быть для вас совершенно безразлично; наконец, если вы знаете, что у вас не должно быть страха смерти – ну что ж! – вот тогда-то вы не можете злоупотреблять вашей властью над другими». – Это означает, что познание истинного порядка вещей и своего места в этом порядке – того, как все должно быть устроено *по истине* и что следует делать, чтобы обустроить все, что нас окружает, следуя порядку истины – познание всего этого уже представляет собой *практику свободы*. Именно это обстоятельство подчеркивает Мисаил, когда сравнивает «мужика» с адептами свободы – Машей и доктором Благово: «в нем есть то нужное и очень важное, чего нет, например, в Маше и в докторе, а именно, он верит, что главное на земле – правда и что спасение его и всего народа в одной лишь правде, и потому больше всего на свете он любит справедливость».

16.04.12 10:24

© Содержание - Русский Журнал, 1997-2012. Наши координаты: [info@russ.ru](mailto:info@russ.ru) Тел./факс: +7 (495) 725-78-67